

К 37
48695

[Крайнее]

ЧЕРНОВ С.

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ — УЧИТЕЛЬ
САРАТОВСКОЙ ГИМНАЗИИ

Н. Г. Чернышевский—учитель Саратовской Гимназии.¹⁾

Н. Г. Чернышевский был учителем Саратовской Гимназии, впоследствии I Мужской Классической. В те времена эта гимназия считалась, если не лучшей, то одною из лучших во всем Казанском округе. К сожалению, ее архив за 20 и 30 л. XIX в. совершенно погиб, а архив за 40 и, что для нас особенно важно, 50 годы не сохранился, повидимому, целиком. Все-же тот материал, который дает нам сильно укороченный и порастрепанный гимназический архив, позволяет заключать, что это было в условиях и рамках того времени довольно серьезно поставленное учебное заведение, не даром имевшее в округе почетную репутацию и дававшее привилегии своим питомцам при поступлении в Казанский университет. Правда, мемуаристы—и особенно М. Воронов—дали чрезвычайно тяжелую картину гимназического быта и педагогических приемов этой привилегированной Саратовской школы. Но невозможно принимать на веру все, ими рассказанное. А что касается М. Воронова, то следует иметь в виду, что среди самих мемуаристов гимназии его воспоминания вызвали своим явным сгущением красок некоторое недовольство. Сопоставляя—те его рассказы с рассказами других мемуаристов и их рассказы между собою, можно пожалуй, подмечать в них определенное единство настроения, при котором становится понятным и одинаковая в общем оценка ими гимназии, ее быта и преподавания. Следует, конечно, иметь в виду, что все они учились в гимназии в момент наивысшего расцвета и сейчас же вслед за тем молниеносного трагического краха системы императора Николая Павловича и не вполне об'единенных попыток ее поправки и подмены новою системой. Кончили они все—в

¹⁾ Предлагаемая статья почти без изменений воспроизводит доклад, читанный автором в заседании Нижневолжского областного Научного О-ва Краеведения „Истархэт“ в декабре 1921 г.

В основание статьи легли следующие работы: Ив. Воронов, „Саратовская гимназия“ (Русск. Старина 1909, VIII.—М. Воронов, „Болото“, СПб. 1870.—Ф. В. Духовников, Н. Г. Чернышевский. (Русск. Стар. 1910, XII). М. А. Лакомте, Воспоминания о Саратовской гимназии (Труды Сар. Уч. Арх. Комиссии, 1903, вып. 23).—Е. А. Ляцкий, Чернышевский-учитель (Современник, 1912, VI).—И. Палимпсестов, Н. Г. Чернышевский по воспоминаниям земляка (Р. Архив 1890, IV).—Студенцов, Педагогический завет Н. Г. Чернышевского (Вестник Воспитания 1912, IX (декабрь)).—В. Е. Чешихин-Ветринский, Н. Г. Чернышевский, ГИЗ 1923.—П. Юдин, Е. А. Белов (Р. Старина 1905 т. CXXXIV).

уже новых политических и общественных условиях, очень отличных от тех, в которых они учились в гимназии. Естественно, что гимназия и в годы их в ней ученья и в годы, когда они уже вышли из нее, одинаково не поспевала за быстро текущею жизнью, за ростом и сменой общественных настроений и взглядов. Естественно, что еще гимназистами они уже далеко опередили ее по своему новому настроению, по своим новым взглядам. Выйдя из нее, они—особенно те, кто пошел в университет или на либеральную службу или в свободную внеслужебную работу—сделали еще ряд шагов в ее опережении, а она продолжала или топтаться на месте или очень медленно поспешать вперед. Они судили и осудили в своих мемуарах ее с точки зрения своих новых настроений и взглядов, которых в ней не было или почти не было в годы их учения и близкие к ним, и, судя ее с высоты своих новых достижений, они не хотели считаться с историческим, так сказать, положением гимназии, с тем, что ее прошлое целиком обуславливалось общим крепостническим укладом страны и крепкою подавленностью в рамках этого уклада общественной мысли. И каждый из них, судя и осуждая, заботливо припоминал все то дурное, что видел в ней и особенно в ней испытал или претерпел, а подобрав букет таких припоминаний, придавал удачным подбором иллюстраций своим обличениям крепкий аромат конкретности. Конечно, в этих припоминаниях и обличениях было очень много правды, но так живо чувствуется в них страсть неосознанного мщенья, так настойчиво поступает желание широко раскрыть школьный уголок темного царства дореформенных лет, так ясно тенденциозный, хотя и не всегда сознательный, подбор припоминаемых фактов, что невозможно верить голосу школьных жертв во всем колоссальном объеме брошенных ими дореформенной школе обвинений. Приглядываясь к этим воспоминаниям обличителей, можно заметить, что в самом подборе припоминаемых фактов, как и в их трактовке они стоят в несомненной зависимости друг от друга, чего, конечно, и совершенно естественно ждать при значительном единстве их настроения и целей и полной осведомленности более поздних авторов о работах своих предшественников. Это еще более подрывает к ним доверие. Но есть еще одно обстоятельство, которое мешает отнестись к ним с полнотою доверия: читая их записки, невозможно понять, каким образом в такой гимназии, как ее мемуаристы описывают, люди чему-то обучались и как-то выходили в жизнь иной раз очень дельными и полезными работниками. Очевидно, мемуаристы не совсем правы в своем пафосе и—под час злом—остроумии обличения. Не совсем правы—уже в том смысле, что сознательно или бессознательно

опускали в своих припоминаниях то хорошее, что в их старей, отсталой от жизни и ее новых веяний, настроений и взглядов гимназии было и без чего она не могла ни считаться одною из лучших в округе, ни давать своим питомцам привилегии при поступлении в Казанский университет, ни выпускать в жизнь полезных и дельных работников. Они или не могли, или не хотели это хорошее вспомнить, вновь увидеть и, может быть иногда по мелочам, даже по крупинкам, подбрав и показать вместе с плохим. Лишь иногда проскользнет поднятая волной припоминаний хорошая мелочь, вроде доброго характера того или другого педагога.

И любопытно отметить, что ежели начать подбирать у разных мемуаристов эти проскользнувшие мелочи, то в общей мрачной картине Саратовской гимназии этих лет окажется большая брешь. Как бы она оказалась значительнее, ежели бы авторы воспоминаний были к предмету своего рассказа беспристрастнее... Но они не удержались на такой академической высоте—да, видимо, и не пытались стать на нее и в своем обличительном порыве и с чувством личной вражды, с высоты своих новых настроений и с горьким отзвуком старых обид, дали своей гимназии сплошную мрачных тонов картину. Но этим самым они сделали свои воспоминания источником, к которому историк подойдет с осторожностью—и очень большою. Эта осторожность еще возрастет, когда историк подметит в этих воспоминаниях ряд противоречий в сообщениях...¹⁾

Надо думать, что Чернышевский, когда он в первые пришел учителем в Саратовскую гимназию, был несколько смущен,—правда, перед этим он уже имел опыт преподавания и публичных выступлений, но все же в новом месте преподавания, в родном городе, где всякий знал его или о нем и где о нем от его-же школьного учителя, а теперь товарища, знаменитого классика Синайского²⁾ и по письмам из Петербурга другого саратовца известного Иринарха Введенского, шла, как об умном человеке и педагоге, хорошая слава, он это смущение испытал. По крайней мере, он в первую встречу гимназистам не понравился и даже показался смешным. Когда меж рядами их он проходил длинным корридoром в учительскую, они поймали в его внешности и походке, голосе и манере себя держать только невыигрышное для него и вслед ему весело пошутили и посмеялись: слишком бледен и уж очень бе-

¹⁾ Ограничиваясь этими замечаниями о главном источнике подлежащей работы так как предполагаю в недалеком будущем дать особый очерк о мемуарах гимназистов этих лет.

²⁾ Классик Синайский в припоминаниях гимназистов окружен насмешками и анекдотами, хотя авторы знают его большую ученость и заслуги перед русским изучением древнего мира. Сейчас он привлекает к себе внимание местных и исследователей—и есть надежда, что из этой мемуарной скорлупы на нас глянет наконец его подлинное своеобразное лицо

локур, сутуловат и близорук, с такими большими шагами и и неловкими манерами и в довершение всех бед—с пискливым голосом он как-бы сам собою вызывал гимназеров на веселость и насмешку.

А между тем он имел в своей внешности много привлекательного: в его лице как-то своеобразно переплелись мягкость линий и выражения с суровою уставностью общих очертаний; самое строение лица было оригинально—и в нем особенно выделялся широкий открытый лоб. Один из его саратовских знакомцев Палимпсестов позже много говорил, об его ангельской для детских и юношеских лет красоте. В общем очерк его лица, как оно дано на известном портрете его в молодые годы,¹⁾ действительно, пожалуй, передает некоторые черты ангелов, как их наша иконография дает: сочетание глубокой одухотворенности и высокой чистоты, двойное торжество духа над плотию, так сказать случайность этой плоти. Но во взгляде этого юного Чернышевского можно уловить несвойственную ангелу черту—мучительной встревоженности, уловившей и скрывшей в себе какую-то неизведанную тайну мысли. Может быть, именно это улавливал в его взоре и Палимпсестов: по крайности, он в конце концов с большой печалью назвал его „падшим ангелом“. Так отчего-же, как не от смущенья, павший или нет, но ангел очертаниями и выражением лица, Чернышевский показался гимназистам своею внешностью смешным? Впрочем, ему было отчего смущаться. Дело в том, что его первый школьный опыт в кадетском корпусе в Петербурге не был особенно удачен: мальчики плохо воспринимали сведения, которые он им на уроках давал, и дурно вели себя в классе. А он чувствовал себя перед ними зеленым юношей, который уже по своему возрасту не имеет и не может иметь никакого авторитета в их глазах. Может быть, решаясь на новый опыт, он живо вспоминал свою кадетскую неудачу, которую исправить он так до конца и не сумел?... Любопытно кстати отметить, что Чернышевский ставил непременно условием перехода своего на службу в Саратов—освобождение от вторичного экзамена: повидимому, первый экзамен при поступлении преподавателем в кадетский корпус произвел на него достаточно тяжелое впечатление. Он впрочем и сам рассказывал в своем дневнике, что на этом, первом экзамене испытал „состояние рассеянной смущенности“ и вел с экзаменаторами—видимо, именно от этой смущенности—„нескладный“ спор. К тому же известно, что в эти саратовские годы он был довольно „застенчив“, таким запомнил его лично и по гимназии близкий человек, впоследствии крупный

¹⁾ Фотография Лауферта, Спб. 1859.

историк, Е. А. Белов.¹⁾ Надо думать, что смущение застенчивого молодого учителя со школьной неудачей за спиной, в родном городе, где такая неудача была бы особенно болезненной, и привела к тому, что гимназисты заметили в его внешности несущественные мелочи, пропустив очарование его прекрасного лица. Но это первое впечатление насмешливых мальчиков очень скоро разлетелось, как дым.

Оказалось, что и внешность у нового учителя в своем целом совсем не смешная, что в его лице, голосе, манере ходить и держать себя есть много привлекательного, ранее просмотренного, а теперь озаренного каким-то единством. И старые смешные черты его облика, разрозненные и не сводившиеся воедино, легко стирались этим новым общим впечатлением. К тому же внешность молодого учителя и все, что с нею связано, очень скоро в восприятии учеников отошли на второй план, поэтому, что новый учитель оказался совсем не таким преподавателем, как его товарищи, старые гимназические учителя.

У него было новым все, начиная с содержания преподаваемого предмета. В памяти семиклассников, которых Чернышевский застал на выходе из гимназии, хорошо удержалась эта перемена содержания. До той поры гимназисты, по словам одного из них, „совершенно“ не имели понятия о Жуковском, Пушкине, Лермонтове—Чернышевский ввел их чтение в классный обиход. Стремясь достигнуть того, чтобы ученики ничего не усвоили догматически, он вводил в преподавание обширный непредусмотренный никакими учебниками материал. Это особенно сказывалось на уроках по истории словесности, где Чернышевский основательно привлекал для понимания какого-либо литературного явления довольно значительный круг данных из истории и культуры эпохи, к которой относится рассматриваемый автор или изучаемое литературное произведение. Привлекал к их пониманию Чернышевский и данные географии. Таким образом он вместе с историей литературы фактически преподавал отрывками общую историю культуры, как, пожалуй, вместе с теорией словесности эпизодически преподавал философские дисциплины,—особенно же начала методологии и классификации наук. Очень хорошо подчеркнул эту сторону преподавательской работы Чернышевского Ив. Воронов: „знакомство с теорией русской литературы и ее отделами Чернышевский сообщал ученикам через сведения об основах этой науки и практически знакомя учеников с клас-

¹⁾ В своих чрезвычайно интересных воспоминаниях о саратовских встречах с Чернышевским (находятся в „Доме—Музее им Н. Г. Чернышевского“ в Саратове). Их указанием я обязан заведующей „Домом—Музеем“ Н. М. Чернышевской—Быстровой, разрешившей мне и их опубликование, каковое надеюсь осуществить в одной из ближайших книжек „Истархэта“. Благодарю Н. М. за доброе содействие работе.

сическими произведениями авторов, разбирая их влияния на общество и его развитие, и вообще способствовал к правильному уразумению духа и направления авторов в зависимости от исторических причин или событий“. Ежели так широко и основательно Чернышевский ставил преподавание теории и истории словесности, то мудрено ли, что он сумел оживить и преподавание церковно-славянского языка? Он очень разумно связал его изучение с чтением важнейших памятников древнерусской литературы, которую он очень любил и довольно хорошо знал—и любил и знал не только ее содержание, но и ее своеобразный язык: он занимался им в университете и не перестал заниматься потом у самого знаменитого Срезневского, тогда еще молодого ученого; для него он в рукописном отделении Публичной Библиотеки производил кропотливые выборки и под его началом составил словарь к Ипатьевской летописи. Он, однако, не ограничивался в преподавании мертвым в жизни и живым лишь в богослужении церковно-славянским языком и „касался славянских наречий, которые его очень интересовали“. По крайней мере такое воспоминание сохранилось у одного из его учеников про уроки, правда, не церковно-славянского языка, а словесности.

Так значительно Чернышевский расширял преподавание своего предмета. И этим расширением он с точки зрения прямых потребностей своего предмета преподавания мог-бы, конечно, и ограничиться. Но рядом с этими потребностями предмета он ставил и другие—более общего характера. Дело в том, что он стремился поднять самостоятельность учащихся; до него такое стремление преподавателя почти не было известно гимназии. Для этого он был должен подвести учащихся к пониманию основных вопросов общего мировоззрения. И он заботливо проделывал эту работу. Но она имела для него и другое, тоже очень важное, значение: дело в том, что он стремился ввести своих учеников в круг и понимание вопросов не только общего мировоззрения, но и политики. Вот отчего он пользуется всяким подходящим случаем—а таких случаев при классном чтении бывало, конечно, очень много, чтобы затронуть основные вопросы общего мирозерцания, философии, богословия, педагогики, политических „общественных наук, естествознания, текущей политической и общественной жизни за границей и в России, больных вопросов и сторон современной русской жизни. Так Чернышевский внедрял в своих учеников, не только разнообразные знания и сведения, но и широкие общие интересы. При единстве его мирозерцания эти внедряемые им в своих учеников интересы были окрашены определенным единством мысли и чувства. И, действительно, новые знания его учеников в об-

ласти фактов и научных идей проникнуты оттенком позитивистического мирозерцания; в горниле этого нового мирозерцания пересоздаются на новый лад старые знания и мысли; разрушается бывшая радостная и трепетная религиозность отроческих лет... И рядом с этим внедрением в своих учеников нового позитивистического мировоззрения Чернышевский вкоренял в их чувство, мысль и волю определенно оппозиционное к власти отношение и—можно сказать по его собственному настроению тех лет—революционное настроение. Эта постановка новых целей преподавания и соответственно с тем широкий раздвиг содержания преподаваемого предмета, окружение его справками, эпизодами и разработка на основе их отдельных вопросов предмета—осуществлялись Чернышевским путем коренной реформы старых методов преподавания. В памяти цитованного семиклассника вступление Чернышевского в преподавание было целою революцией: „с поступлением его в учителя бессмысленное зубрение уроков словесности прекратилось и дан был ход живому слову и мышлению“. Дело в том, что Чернышевский заменял классною беседой обе основные части старого школьного урока—объяснение задаваемого и спрашивание заданного урока. Он намеренно вызывал со стороны учеников возражения себе и друг другу и, умело руководя прениями, доводя их до цели преподавания—до того, что урок становился понятен. Трудность темы его здесь не останавливала, путь к ее освоению лежал одинаково через беседу. Конечно, Чернышевский не ограничивался беседою: повидимому, как база к ней, выступает к его стороны чтение и рассказ. Надо думать, что такое же назначение в очень значительной степени имели и те письменные работы, которые ему писали ученики: семиклассник запомнил, что он „указывал недостатки ученических сочинений“ и что „в обсуждении“ их принимал участие весь класс. Так, на разном базируя свою школьную беседу, Чернышевский одинаково на ней брал свой урок и освоение предмета учениками. Немудрено поэтому, что цитованный семиклассник так сформировал свое общее представление о преподавательских приемах Чернышевского: „при обучении он держался сократической методы“. Надо отметить при этом, что он был большим мастером в проведении этой „методы“: собеседники запомнили его, неутомимым, очень искусным поэтому непобедимым спорщиком, запомнили его в споре спокойствие духа, логичность построения и едкую насмешливость выражений... Конечно, в школьной беседе он не давал полноты простора этим своим качествам спорщика, ибо не мог к своим ученикам относиться с тою же беспощадностью превосходства, как к взрослым своим собеседникам, и щадил их и лично и педагогически. Но все же логика его

оставалась неумолимой, а насмешливость, становясь мягкой, оставалась разящей.

Что касается базы, на которой строилась беседа урока, то Чернышевский, который вообще очень хорошо рассказывал и был непобедимым мастером спора, давал прекрасные вводные объяснения и мастерски читал произведения литературы. Отдельных чтений его ученики, повидимому, никогда не позабыли: так они были хороши. То же, что в преподавании, имело место и в развивающей беседе на темы политики, общего мирозерцания и др. По всем этим вопросам Чернышевский, как это вспоминают его ученики, одинаково не ограничивается высказыванием своей личной точки зрения, а втягивал в беседу своих учеников, заставляя их высказываться и оспаривать и себя, их учителя, и друг друга. Переход к таким темам и спорам был, конечно, очень легок—от мыслей, высказанных в разбираемом литературном произведении или им навеянных, от фактов, там рассказанных, от тех справок и эпизодов, которыми Чернышевский исторически обрамлял разбираемое литературное произведение. Получалось же, в сущности говоря, совершенно неожиданное положение: в гимназических классах свободно велись беседы на темы, которых было нельзя касаться в печати, в общественных местах или о которых в лучшем случае было можно говорить лишь в начальством постановленных рамках и им дозволенным образом...

Сводя преподавание к беседе и, как к ее базе, к рассказу, чтению в классе и „сочинениям“, но главным образом именно к беседе, Чернышевский пренебрежительно относился к учебнику. Он говорил ученикам: „Учебник нужен только для экзаменов, а к каждому уроку незачем зубрить его: лучше побольше книг“! И он, конечно, имел основание пренебрежительно отнестись к учебнику, ибо колоссально перерос его и знанием и методом исследовательской работы и педагогической осведомленностью и педагогической приспособленностью к школьному юношеству и, как это юношество, не мог не ненавидеть его схоластическую сушь, о которой никогда не забыли, позабыв все содержание учебника, гимназисты этих лет. И это игнорирование учебника, повидимому, совершенно вошло в школьную систему Чернышевского. Ученики в последствии объясняли эту систему двумя моментами: во первых, они говорили, что учебник был для них недоступен по своей схоластической трудности—оставалось его зубрить, что до Чернышевского делали, но что было совершенно несогласимо с его педагогическими воззрениями; а во вторых они указывали, что учебник при коллективной проработке урока в классе

становился, в сущности говоря, излишним. Устраняя учебники, Чернышевский стремился другим—широким развитием внеклассного чтения заполнить и использовать домашнее время учеников. Можно сказать, что слова: „читайте побольше книг!“ были одним из основных девизов его преподавания. Он взял на себя руководство „продажной“ ученической библиотеки. А так как в гимназических библиотеках, повидимому, не было ни вообще достаточно богатого выбора книг, ни нужных книг в достаточном количестве, он очень охотно давал ученикам на дом читать свои личные книги, и, можно думать, что именно в связи с таким внеклассным чтением своих книг сложились беседы у него на дому. Естественно, что раз главным содержанием урока становились в той или другой форме беседа, в которой всесторонне раскрывался руководящему его учителю каждый ученик; отпадала нарочитая проверка знаний учеников—спрашивание уроков. Отметка порою ставилась в журнале—условно, карандашом, — видимо, лишь как условное означенное достижение ученика, облегчающая преподавателю запоминание проходимого им пути развития—и только, без всяких так сказать юридических последствий для ученика.

Все это, конечно, было полным переворотом в постановке и методах преподавания. Его воздействие на учеников должно было стать очень значительным.

Такую же революцию Чернышевский внес в отношения преподавателя к ученику. Не надо думать, как это, пожалуй, довольно распространено, что учителя его времени были сплошь—люди, плохо относившиеся к своим питомцам. Гимназическая память благодарно сохранила ряд имен, носители которых наоборот были в отношении гимназистов добрыми и иногда очень терпеливыми людьми. Таковы особенно были, повидимому, старший товарищ, Чернышевского—законоучитель Смирнов и в еще большей степени, чем он, директор сороковых годов Круглов или младший товарищ Чернышевского Ломтев. Любопытно отметить эти признания учеников, в общем столь враждебных своей гимназии: при общем тоне их воспоминаний они имеют особую ценность. Да и сам Чернышевский по свидетельству Белова, считал своих товарищей учителей гимназии в большинстве добрыми людьми. Сущственно здесь другое: Чернышевский первый внес в отношения учителя к ученикам элемент товарищества; пожалуй, в полной мере он один его и сумел осуществить. Он, повидимому, не без молодого задора подчеркивал и демонстрировал этот новый элемент, начиная с мелочей,—в роде того, что, придя в класс, „не садился на учительское место а ставил стул около учеников“. Он относился к ученикам с тою чуткою

осторожностью к чужому чувству собственного достоинства, которое дает и поддерживает в человеке признание другого равным себе, своим товарищем. Это создало своеобразный по тому времени стиль отношений. Нечего и говорить, что Чернышевский не бил своих учеников и не дрался, как это и раньше его случалось в гимназии, ¹⁾—он вообще не прибегал ни к каким наказаниям. Цитованный семиклассник особенно запомнил один случай, когда по установившемуся ранжиру Чернышевский был должен применить полноту дисциплинарной учительской власти и когда за место этого он ограничился даже не выговором, а только насмешкою над учеником,— правда, насмешкою жестковатой, но как раз такой, какую отпустит товарищу товарищ. Другой раз он предложил одному ученику выйти вон из класса, но это жестокое и обидное предложение он сделал ему от имени класса, за то, что он классу мешал заниматься делом. Повидимому, он в этот момент во всей полноте чувствовал себя представителем всего своего класса, увлекательной работе которого мальчик мешал. Надо думать, что он был величествен в этом своем слове провинившемуся. Отзвуками большой неожиданности полно припоминание ученика об этом его слове,—и отзвуком большой неожиданной радости и полноты сочувствия учителю, который стал товарищем и, как товарищ, говорит провинившемуся перед классом от имени класса товарищей... Все это было совершенно необычно, особенно кончающим ученикам. Они в конце концов так и не привыкли к Чернышевскому и его новым методам, как их более счастливые младшие товарищи, общение которых с ним было длительнее, чем у них, застигнутых им у порога школы. Неудивительно поэтому, что один из них, много спустя, сознавался: „мы не понимали и не могли даже представить подобного отношения учителя к ученикам, почему мы стеснялись и даже дичились нового учителя; не могли говорить и отвечать на его вопросы, как следует“.

Эта простота общения из класса естественно переходила на улицу: Чернышевского помнят на коротком пути домой всегда окруженным учениками и в веселой и дружеской с ними беседе. Ив. Воронов рассказывает, что летом по вечерам Чернышевский часто бродил по городу и охотно присоединялся ко всякой игре на воздухе, в которой где-нибудь встречал или заставал своих гимназистов. Физически слабый, он быстро уставал от игры, садился отдохнуть на каком-нибудь обрубке или подвернувшейся доске—и снова начиналась дружеская беседа с учениками.

¹⁾ И в форме молниеносного „электричества“ этого старика „Владимира Тимофеевича“ дожило и до моих дней.

Естественны были последствия сочетания в одном лице таких разнообразных качеств учителя: необычайной полноты преподавания, постоянной связи преподавания с общими вопросами мирозерцания и политики, новых методов преподавания, построенных на развитии самостоятельности учащихся, товарищеского отношения к ученикам: живой интерес учеников к иначе, как другие, преподающему и иначе, чем другие, держащему себя с ними учителю, а также конечно, и к его предметам и тем дополнительным главам, которыми он обстраивал свой предмет. Но, кроме этих черт педагога, мы в Чернышевском должны отметить, чтобы полнее понять эту заинтересованность им, как педагогом, учеников и некоторые его личные черты. Не стану здесь говорить об его доброте и милой застенчивости, отмечу только, что этот очень молодой и весь полный, несмотря на свою застенчивость и рассудительность, молодого задора преподаватель, все делавший иначе, чем другие, был во первых редкостно одаренным и так сказать излучавшим из себя свою одаренность человеком, а во вторых человеком очень образованным—и не только очень широко, но и глубоко, научно, в большой требующей постоянной творческой работы ума специальности. Вот отчего его ученики все были, за очень редкими, единичными, исключениями, захвачены его уроком, и поэтому у него совсем или почти совсем не было неуспевающих по лености учеников и в классе во время урока царили тишина и спокойствие. Ни того, ни другого его товарищам—гимназическим учителям, повидимому, достичь не удавалось.

Таким образом ученики в своей основной массе были втянуты в работы. При этом самое их вовлечение в работу произошло таким образом, что была чрезвычайно поднята их самостоятельность: она проявилась и в классе и вне класса. Вне класса она наиболее заметным образом проявилась в официальных литературных беседах в гимназии и неофициальных беседах с учителем на прогулке или у него на дому.

Литературные беседы устраивались, повидимому, раз в месяц и навсегда остались памятью ученикам—их участникам. Эти беседы начались, повидимому, еще при директоре Л. П. Круглове, который вообще, кажется, сделал довольно много для своих школяров. Один из предшественников Чернышевского по преподаванию русской словесности Ф. П. Волков был усердным и деятельным помощником Круглова в устройении этих бесед. Сколько нужно судить, ученики очень интересовались этими беседами, но по воспоминаниям некоторых из них в самой организации этих бесед было два очень существенных недочета: 1) темы для ложившихся в основу бесед ученических сочинений давались, ежели не исключительно,

то по преимуществу, философского и богословского характера; не всякий ученик интересовался отвлеченными вопросами; не всякий, кто интересовался ими, мог осилить разработку вопроса или принять участие в его обсуждении 2) учителя и гимназическое начальство в своей большей части, но во всяком случае за исключением Круглова и Волкова, во время этих бесед оставались властью и не были—от того-ли, что не хотели, или оттого, что не могли, только участниками и руководителями бесед. Ученики Чернышевского приписывали именно ему устранение этих недочетов. Ценою сильного спора с директором гимназии Мейером, он настоял на замене трудных философских и богословских тем доступными, гл. обр. литературными, и на коренной перемене во время этих бесед взаимоотношений меж гимназистами и их учителями и начальством. И гимназисты отметили в своих воспоминаниях большое оживление бесед и подготовки к ним, как итог этих побед Чернышевского. Он правильно организовал самый ход беседы и умело направлял рассуждения учеников к основным вопросам разбираемого сочинения—в том числе и к вопросу о правильности использования „источников“,—понимая под этим выражением мемуариста (Ив. Волкова), конечно, литературные пособия. Это был новый большой успех Чернышевского.

В еще более товарищеской обстановке, чем эти официальные литературные беседы, протекали — и протекали, надо думать, еще более, чем они, живо—беседы частных встреч на прогулке и у него на дому. У него на квартире—и, вероятно, на прогулке с ним—ученики встречались с другим, на этот раз подневольным, знаменитым саратовцем той поры, с красноречивым и горячим молодым историком, впоследствии знаменитым Н. Ив. Костомаровым. Под их обоим руководством шли чтение и беседа. Поднимались и вопросы политические...

При обрисованных чертах преподавания Чернышевский отличался большею силою и независимостью характера. На этой почве, повидимому, довольно рано произошло их первое столкновение,—по вопросу, где Чернышевский неожиданно для директора и не в пример другим преподавателям стал на правильную по существу дела, но по свойству дела и не обычной требования для директора обидную формальную точку зрения,—по вопросу денежному. Для Мейера эта формальная точка зрения была тем обидна, что он действительно, был и по заслугам считался очень ответным и безукоризненно честным хозяйственником и в частности прекрасным казначеем. Это было, повидимому, довольно раннее столкновение. Трудно; к сожалению, указать при суммарности ученических воспо-

минаний, когда впервые у них произошла сильная размолвка. И вообще говоря, их отношения, кажется, легче систематизировать, чем хронологизировать. Большая часть открытых неудовольствий Мейера была видимо, вызвана классными, как их итог, экзаменными столкновениями. Но в их основе лежали — во первых, безусловные и всем очевидные новшества Чернышевского в преподавании и общении с учениками, во вторых, его определенные политические тенденции, не то чтобы проглядывавшие, а повидимому, совершенно открыто обнаруживавшие в его преподавании, хотя и никогда не выливавшиеся, кажется, в явный призыв к ниспровержению господствующего порядка и правительственной догмы, и в третьих, его независимое поведение. Что же создавало это его независимое поведение? Конечно, кроме личной силы характера и высокой самооценки, и учет влияния у местной власти отца и собственного привилегированного по отцу, образованию и личным качествам положения в городе — и в частности среди его чиновничьих и духовных верхов, начиная с самих губернатора и архиерея.

В поздних припоминаниях учеников эти несомненно бывшие у Чернышевского с Мейером столкновения раскрашены совершенно анекдотическими подробностями, — пожалуй, совсем невозможными ни в тогдашней, ни в какой либо вообще школе. В итоге этих несомненно бывших, но памятью и передачами учеников чрезвычайно раскрашенных, столкновений, директор Мейер переносил свое недовольство учителем на его учеников. Чернышевский энергично вставал на их защиту. Положение таким образом еще более запутывалось и обострялось. А в момент его наибольшей запутанности и наивысшего обострения на сцену выступил с наибольшею, повидимому, силою политический момент.

Указания учеников Чернышевского, что он в порядке преподавания свободно излагал свои политические и социальные убеждения встретили возражения П. Л. Юдина. Он привел три аргумента против показания учеников: во первых, учитель, а потом директор саратовской гимназии Лакомте, поступивший в гимназию вскоре после того, как ее покинул Чернышевский, писал к нему, что Чернышевский „будучи преподавателем словесности, ... иногда, по просьбе учеников, делал отступления от своего предмета и давал учащимся объяснения некоторых исторических фактов“. „Но при этом“, добавлял Лакомте, и на это особенно указывает Юдин, „не был тенденциозен, не имел в виду никакой агитации; во вторых, тот же Лакомте говорил о „большом уважении“, с которым „всегда“ отзывались при нем о Чернышевском, „как о человеке даровитом“, директор и инспектор гимназии, чего,

очевидно, по мнению Юдина, не могло бы быть, если бы политический момент, действительно, имел место в преподавательской работе Чернышевского; в третьих, Чернышевскому через год по приезде в Саратов дана была в заведывание ученическая „продажная“ библиотека, каковое заведывание он сохранял до окончания службы в гимназии, чего опять таки при наличии политического момента в его преподавании, по мнению Юдина, не могло бы быть. Эти аргументы Юдина, вообще говоря, сами по себе несостоятельны. Собственно только один из них содержит в себе опровержение тех рассказов, которые о политической пропаганде Чернышевского в преподавании дали его ученики, свидетели и объекты этой пропаганды,—это первый аргумент, показание Лакомте в письме к Юдину. Надо сказать, что ценность этого аргумента очень ослабляется одним обстоятельством: Юдин приводит лишь очень небольшой отрывок, выхваченный из письма, которое, как можно догадываться, представляет собою скорее всего ответ Лакомте на какой-то запрос любознательного Юдина; к сожалению, мы не знаем ни текста запроса, ни полного текста ответного письма. Судя по опубликованному Юдиным отрывку, слова Лакомте лишены какой-нибудь определительности. В самом деле он сначала довольно сбивчиво говорит об „отступлениях“, которые в изложении своего предмета позволял себе „иногда по просьбе учеников“ Чернышевский. Повидимому, пояснением к этим его словам служит тоже неясное показание Лакомте: „давал... объяснения некоторых фактов“. Каких исторических фактов,—этого Лакомте не говорит. Меж тем и крепостное право и судебное устройство, о которых упоминание или рассказ можно было найти у любого из преподававшихся авторов, и многое другое, о чем эти авторы говорили, как для давних времен, так и для недавнего и даже совсем недавнего прошлого,—тоже „исторические факты“. Может быть, Лакомте надо понимать так, что именно о них и шла у Чернышевского в классе речь? Но как Чернышевский мог быть в речах о таких „исторических фактах“ нетенденциозен? Как мог он, о них говоря, не восставать против них, ежели не по форме, то по существу, всею силою своего убедительного и ядовитого слова? Или может быть, Чернышевский говорил с учениками о совсем других „исторических фактах“, полных политической невинности и самым свойством своим застраховывавших от политической вольности в слове и даже мысли всех—и оратора, и его слушателей? Теоретически рассуждая, таких фактов можно подобрать, сколько угодно,—но спрашивается, как революционер, толкуя о политически невинном факте прошлого, устоит на академической платформе и не сделает политически полезного вывода

или хотя-бы, ежели вывод делать рискованно, политического экивока. Да мы из рассказов современников, и в частности Белова знаем, какие речи держал и о каких исторических фактах толковал Чернышевский. Вот, что рассказывает Белов: „Учителем истории в Саратовской гимназии был тогда один из замечательных педагогических экземпляров — Евлампий Иванович Ломтев; он служил сначала в Астрахани, потом в Пензе, потом в Саратове; куда девался он из Саратова, не знаю. Про него говорили, что в Астрахани за какое-то объяснение ученика Устрялова он должен был выслушать от губернатора весьма грубые замечания. Можно сказать, что с этих пор он перестал преподавать историю, а только чертить пути походов и планы сражений и, кроме пояснений к этим путям и походам, ничего не говорил. Мудрено-ли, что ученики с историческими вопросами обращались к другим преподавателям. Я преподавал тогда географию, обращались и ко мне; разумеется само собою, что обращались и к Н. Г. Чернышевскому. При одном из таких вопросов он увлекся, разговорился, нарисовал план залы заседания Конвента, обрисовал партии, указал места, где члены каждой партии сидели и т. д...“. Невозможно думать, чтобы, толкуя на такие и подобные сюжеты Чернышевский сохранял академическое спокойствие высшей марки. Не думаю, чтобы со своим молодым задором, со своими революционными взглядами и жаждой революционного действия он мог или считал нужным это бесстрастное спокойствие соблюдать... Таким образом к словам Лакомте в письме к Юдину надо отнестись с очень большою осторожностью, — тем большею, что мы даже не знаем, как в 1904 г., когда он это письмо писал, он понимал в отношении к 50-м г. г. тенденциозность и агитацию, которые для этих годов он так решительно отрицал в преподавании Чернышевского. Может быть, следует обратить внимание еще на одно обстоятельство: в словах Лакомте могла дойти до нас официальная версия гимназического начальства, которому мудрено было в эти трудные годы кому бы то ни было говорить о наличии в педагогической работе Чернышевского политического момента из опасения ответственности за недонесение в свое время по принадлежности. ¹⁾ Что же касается других аргументов Юдина, то они совершенно не производят серьезного впечатления: так „уважение“, которое к Чернышевскому, по словам того же Лакомте, питало гимназическое начальство, было, как это сам Лакомте говорит, лишь данью его „отличным дарованиям“; но не питать к ним „уважения“, отзываться без „уважения“

¹⁾ Любопытно, что поздняя жандармская традиция, кажется, приписывала Чернышевскому, как это обнаруживается интересными работами В. А. Сушицкого, революционирование гимназистов — его учеников.

об них, конечно, не мог ни один не то, что добросовестный или умный, а просто дорожающий мнением о себе своего собеседника человек; понятно, что, говоря с молодым Лакомте, его собеседники—начальство гимназии с „уважением“ отзывались об „отличных дарованиях“ своего недавнего подначального, ныне-же знаменитого, писателя... Несерьезен и довод от факта длительного, заведывания Чернышевским ученической „продажной“ библиотекой. Конечно, всего естественнее было ею заведывать ему, и как преподавателю словесности и как очень широко и научно образованному человеку. Надо думать, что и сам он охотно на это заведывание, сближавшее его с учениками, шел. Отдать библиотеку при таких условиях другому лицу, значило итти на не совсем приятные толки, но отнять ее у Чернышевского, значило рискнуть—особенно учитывая его упрямый и независимый характер—на сильный скандал в педагогическом мире и вообще в городе.—Таким образом я отводил бы все аргументы Юдина.

Вскоре после статьи Юдина Ляцкий при постановке того же вопроса мог уже обсудить показания не только учеников Чернышевского, но и его самого, т. е. обеих заинтересованных сторон—агитатора и агитируемых. Как известно, эти показания в существе своем совпадают. Несмотря на это Ляцкий отрицает их достоверность. Повторяя в общем старые доводы Юдина, он дал и новую—критику этого совпадения показаний: он стремится разгадать тайну этого совпадения и, разгадав, ослабить его обязывающую силу. В основу всех своих соображений Ляцкий кладет признание, что Чернышевский „вносил в свое преподавание такую свободу изложения предметов,... которая сама по себе могла показаться революционной в затхлой атмосфере гимназической умственности“. Из дальнейшего, немного сбивчивого, изложения надо, повидимому, понять, что впоследствии „в минуты мечтательного увлечения“ ему казалось, что он говорил совершенно невозможные вещи, хотя в сущности таковых никогда в классе не говорил. Что же касается учеников, то они, по словам Ляцкого, „угадывали“ „в критическом отношении“ Чернышевского „к старым приемам воспитания, к патриархальным методам истории и в превознесении“ им „новой реалистической литературы перед старой, псевдоклассической,—прочную связь с цельным, казавшимся в высшей степени радикальным, миросозерцанием“. Далее Ляцкий опять не совсем ясно говорит о том, что Чернышевский беседовал с учениками не только в классе, но и вне класса, на прогулке и на дому. Хочет ли он этим сказать, что Чернышевский вольные речи позволял себе именно вне класса, или что другое, я не знаю. В конце концов из показаний учеников Чернышев-

ского Ляцкий делает вывод, что, когда Чернышевский „вырос в знаменитого и опытного писателя, у его бывших учеников создалось впечатление, будто он и тогда, прежде в беседах с ними, определенно высказывался по поводу современных тогдашних политических и социальных вопросов“. Этих довольно хитроумных построений Ляцкого, которыми он думает упразднить силу совпадения показаний Чернышевского и его учеников, я никак не могу принять за их очевидную надуманностью.

Ветринский, исключая письма Лакомте, не повторил аргументации своих предшественников, но привлек к делу новый и очень существенный аргумент: показания ученика Чернышевского гимназиста Шапошникова, который определенно говорил, что „никакой пропаганды среди учеников“, Чернышевский „не вел“. Однако и Шапошникову, как мне представляется, довольно трудно верить, ибо, судя по его рассказу, он едва-ли долгое время был учеником Чернышевского: факты рассказа Шапошникова о времени Чернышевского заставляют локализовать автора для этой поры более в младших, чем в старших классах гимназии.

Таким образом, как мне представляется, нет никаких оснований отвергать правильность показаний учеников Чернышевского и его самого об его школьной агитации. Мне думается вместе с тем, что значительная доля разногласия в источниках по этому вопросу произошла от того, что Чернышевский делал свое агитационное дело в высокой степени осторожно, заботясь не о форме, а о содержании речи и охотно, жертвуя первой для второй, и не только принимал меры к тому, чтобы начальство как-нибудь не узнало об его агитации в классе, но своим ученикам, повидимому, не выяснял, с какою собственною целью он им рассказывает то и так, что и как он им говорил. Можно поэтому, пожалуй, утверждать, ежели оперировать терминологией со всею строгостью юриста, что Чернышевский, совершенно не занимался агитацией или пропагандой. Но нас во всем этом интересует существо, а не форма дела. Нам совершенно достаточно убедиться, что Чернышевский своими беседами и разъяснениями во время своих школьных уроков совершенно определенно строил чувство, мысль и волю своих учеников против существовавшего тогда государственного и общественного порядка и рисовал перед ними свои идеалы и ступени к их достижению. Думается, что сомневаться в этом нет никакой возможности. И ежели у гимназистов, побывавших у него в 4 или 5 классе, составилось обратное представление,—значит, они не поняли Чернышевского—по его или их вине или воле,

вопрос иной. Итак Чернышевский выступил в гимназии искусным в маскировке агитатором. И этот агитатор был искусен, конечно, не в одной маскировке, а и в повседневном, реальном улове душ—и в этой области, видимо, имел решительный успех ¹⁾. Можно думать, что в связи с этой неопровергнутой искусною деятельностью агитатора стоят две заметки в дневнике Чернышевского. Одна, не вполне разобранный покойным М. Н. Чернышевским, гласит: „я уверен, что меня теперь вытеснят, а я скорее поставлю все вверх дном и останусь, ежели уж на то пошло. Я не хочу, чтобы кто-нибудь мог сказать, что принудил меня к тому-то, тем более“... Далее несколько слов осталось неразобранным. Так писал он в дневнике 4 марта 53 г., а через несколько дней, 14 марта, записывал: „Разговор с директором, который, по его мнению, поступил благородно, отказавшись доносить на меня в Казань. Конечно, благородно с его точки зрения. Я хотя не разделяю ее, но был растроган. Инспектор много смеялся нашей дружбе. Я не был в состоянии вести себя так раньше, когда не был уверен в своей силе, как и в том, что я не трус и немало-душен. Но теперь я был спокоен и *спросил* его, а не требовал, чего раньше не мог сделать. Еще я доволен собою в отношении этого: не уступил и не струсил, но был чрезвычайно мягок и даже нежен.... Завтра, воскресенье, я должен быть у *Карягина*, может быть у инспектора, у Акимовых...; раньше хотел к директору, чтобы высказать ему, что я оцениваю его поступки со мною, но теперь не буду: не достанет времени. Это можно будет высказать и перед отъездом и будет гораздо лучше“. Несомненна связь обеих записей. Как видно, Чернышевский за несколько дней успел как-то—может быть, путем объяснений с директором—устроить свое дело мировым порядком без перевертывания, как он недавно грозился „всего вверх дном“. И вместе с тем ясно, что в основе знаний лежат какие-то политические моменты, ибо по существу дела что еще могло бы вызывать со стороны директора в Казань именно „донос“, а не жалобу, а со стороны Чернышевского вызвать к директору, когда тот своей обязанности, доноса не исполнил, „благодарность и даже растроганность“? чего, кроме политической неприятности, было бояться Чернышевскому? В записке Белова есть указание, которое по связи с последующим проще всего относить к первым месяцам 1853 г., на какое-то „крупное объяснение“ Чернышевского с директором Мейером.

¹⁾ Белов свидетельствует, что Чернышевский „характером ума“ и „остроумия“ походил на мать. В связи с этим не могу не вспомнить замечания А. А. Гераклитова, что в Чернышевском воскрес его дед по матери знаменитый священник Сергиевский церкви Голубев, человек исключительных дипломатических способностей и большого ума.

Его „пришлось выдержать“ Чернышевскому из-за рассказанного выше злополучного экскурса в зало Конвента. В связи с ним „по городу пошли толки, что Чернышевский проповедует революцию“. Сам Белов отрицает такую проповедь Чернышевского, уверяет, что и „Мейер очень хорошо понимал, в чем дело“, — „но напор извне был так силен“, что Мейер был должен принять какие-то меры. Характерно это упорное отрицание Беловым политического момента в преподавательской деятельности Чернышевского. Трудно думать, чтобы он просмотрел эту сторону работы товарища. Думается здесь имело дело другое: Белов довольно сильно пострадал за свои связи с Чернышевским и, как кажется, прикосновенность к ученическому движению в Саратове, летом 1864 г. он был, видимо, вынужден оставить Саратов и перебраться в Петербург; здесь ему оказалось очень трудно пристроиться на службу: в последних словах своей записки о саратовском знакомстве с Чернышевским он говорит с меланхолическим припоминанием, как ему „пришлось походить на Казанскую в четвертое отделение собственной Его И. В. канцелярии и к покойному Николаю Алексеевичу Вышнеградскому до осени“. Весь его рассказ о расправе в Саратове с политически подозрительными людьми проникнут старою грустью и вместе сдерживаемым раздражением. Он охотно говорит об ошибках и нелепых предположениях власти в той травле, которую она вела против политически ненадежных лиц, но еще большее удовольствие доставляет ему вспомнить, осмеять и опровергнуть те озлобленные толки, которые по Саратову ходили и на которых базировалась власть в своих предположениях и ошибках. И за одну скобу со всеми, — часто, действительно, вздорными, — толками он берет и толки о политической агитации Чернышевского в школе...

При всем вышерассказанном столкновение Чернышевского с его гимназическим начальством было совершенно естественно и не могло не произойти. Повидимому, правильнее всего полагать в воспоминаниях гимназистов хронологические рамки оказались неустойчивы — что столкновения довольно рано начались и к середине учительской карьеры Чернышевского достаточно обострились. При этом надо отметить, что гимназическое начальство — гл. обр. директор Мейер — вело с Чернышевским упорную борьбу, отлично учитывая, с какою крупною фигурой оно эту борьбу ведет. Признание значительности своего противника у начальства было двояким: с одной стороны, оно ценило его „отличные дарования“, с другой, не могло не оценить его прочного по отцу и личным связям общественного положения, а в частности добрых отношений с местным губернатором В. Кожевниковым, благодаря

только которому впоследствии Чернышевскому, по словам Белова, удалось „уехать из Саратова без особой неприятности“. Что же касается педагогических воззрений и педагогической практики своего противника, то гимназическое начальство отнеслось к ним пренебрежительно и с недоверием.

В этой борьбе сильного и с прочным общественным положением учителя с его гимназическим начальством большинство учителей гимназии оказалось не на его стороне: с одной стороны большинство учительского персонала, видимо, живо чувствовало, что Чернышевский дает в преподавании и общении с учениками то, чего они дать своим ученикам не в состоянии, и ополчались на него, как на представителя новой педагогической практики и теорий; а с другой стороны, судя по материалам Духовникова, и он сам задевал многих из них своими насмешками и высокомерием....

Это отношение товарищей—учителей к Чернышевскому проясняется рассказами его учеников. Дело в том, что впечатление, которое произвел Чернышевский всеми сторонами своей личности и своего преподавания на гимназистов было поистине колоссально. Им стало казаться, что „этот педагог был первою восходящею звездой в сумерках, царивших в педагогическом персонале Саратовской Гимназии; с его приездом началось веяние нового духа; старики-педагоги окостеневшие в невежественном понимании образовательного и воспитательного значения юношества, стали мало по малу замещаться достойною, знающею и образованною молодежью, вполне способною исполнить тяжелую миссию просвещать молодое поколение“. Эти слова принадлежат Ив. Воронову. Между тем сам-же Ив. Воронов приводит ряд преподавателей, которые независимо от Чернышевского каждый по своему вносили свое новое в быт и преподавание гимназии. Ежели же мы обратимся к другим воспоминаниям, напр. собранным Духовниковым, то увидим, что кое-что хорошего в отношении к ученикам внесли и другие—таковы его предшественник по специальности Волков, врач его времени Троицкий; не только в отношении к ученикам, но и в самое преподавание, много хорошего внес Е. А. Белов. Т. о. разрозненные струйки нового и хорошего издавна вливались в гимназическую жизнь. В эпоху Чернышевского, как и до него и после него, над преобразованием педагогического состава много поработал его упорный антагонист в вопросах педагогики и его политический противник директор гимназии Мейер, который как администратор очень вырастает после ознакомления с запискою его сослуживца Белова. В медленное дело немногих разрозненных и часто пересыхающих ручейков вдруг в лице Чернышевского ворвалась могучая река—и фактически и в вос-

приятии современников затмила собою их медленное, но верное дело. Отдавая дань ее величию, не надо забывать этих ручейков, ее предшественников и спутников! Так, и отдавая все должное педагогической работе Чернышевского, который один по своим дарованиям, общему мировоззрению, силе и независимости своей личности мог стать этою могучей и великой рекой, не забудем дела его предшественников и современников, тех, кто подготовлял его работу и ему в ней помогал. Если представить его великим пахарем и сеятелем,— он имел перед собою уже не новь, а тронутую землю, и пахал ее и сеял на ней уже не один, а в—пусть небольшим, но—сотрудничестве... Вот почему совершенно невозможно принять заявление другого Воронова, Мих., что „в то недолгое время, которое“ Чернышевский „пробыл в нашей гимназии, глубоко была потрясена им вся старая система“, что „все изменилось на время под благотворным влиянием этого умного, гуманного человека. „Все“, вернее многое, может быть очень многое, изменялось от постепенного вливания в гимназию новых по духу преподавателей, из которых Чернышевский был, конечно, во всех смыслах наиболее значительной и наиболее эффектной фигурой... Но не одно это влияние меняло „все“ в гимназии. Рядом с ним—и вероятно, сильнее, чем оно, действовала крымская война, действовал общий, связанный с нею тяжелый кризис всей правительственной системы. Надо думать, что их воздействие, а оно началось в последние месяцы работы в гимназии Чернышевского, было гораздо сильнее, чем его воздействие,—человека, в конце концов потерпевшего в своей борьбе неудачу... Но за то те разнообразные семена, которые Чернышевский и его предшественники и современники по обновлению гимназии, бросили в ее почву, в сознание и настроение своих учеников, теперь в годы войны и подготовки реформ быстро взошли, пышно зацвели и дали богатые плоды на ниве русского общественного дела... Но в одном мемуаристы, повидимому, безусловно правы: „сильная личность и насмешливое слово Чернышевского влияли в хорошую сторону на его товарищей“. Правда, и здесь они, видимо, в своем преклонении перед героем допускают преувеличение—так, М. Воронов говорит, что, благодаря Чернышевскому, „учитель греческого языка перестал бранить Пушкина и Лермонтова“. Дело в том, что от учителя греческого языка очень почтенного и ученого классика Синайского, которому русская наука классической филологии обязана одним из первых, ежели не первым, греческим словарем, брань Пушкина и Лермонтова ученикам приходилось слушать в совсем особом порядке: он за отсутствием учителя словесности одно время преподавал им теорию

и историю словесности. Сам очень большой знаток не только греческого языка, но и греческой литературы, Синайский искал и ценил в новой литературе подражания великим образцам литературы эллинов и с этой точки зрения осуждал Пушкина и Лермонтова за отступление от великих и, как ему казалось, непреходящих образцов. Перестав с приездом Чернышевского преподавать теорию и историю словесности, он вместе с тем потерял и обычные поводы к критике и брани наших величайших поэтов. Чернышевский здесь, может быть, повинен только тем, что приехал в Саратов учителем предметов, которые до его приезда временно преподавал Синайский. Но в ряде других конкретных указаний влияния Чернышевского на учителей мемуаристы, повидимому, правы. Однако это его влияние на учителей имело два эффекта: один, как Ломтев и Белов, всецело под него подпадали и даже менялись в хорошую сторону, а другое—и, повидимому, таких было большинство—лишь несколько меняли обличье и пытались показать себя Чернышевскому в таком свете, который бы он оценил, как положительный, но в существе его не любили и боялись его ума, насмешки и непреклонной силы. Отсюда и идут те „проклятья“, которыми его „преследовали“ товарищи. Воронов объясняет их только тем, что Чернышевский „подорвал навсегда“ их „кредит... между воспитанниками“ гимназии. Но, конечно, к этой Вороновым указанной причине товарищеских „проклятий“ надо прибавить и другую—ту, которую я сейчас намечал: то были проклятия лиц, впавших перед ним в моральное рабство. Конечно, не все товарищи проклинали Чернышевского—Белов и Ломтев этого не делали, и менее, чем Воронов, озлобленный мемуарист Шапошников признает, что Чернышевский оставил после отъезда из Саратова „уже, хотя и маленькую, группу педагогов“, так сказать новой формации, сложившуюся под его влиянием, хотя бы и не из людей, всем своим развитием обязанных именно ему; таков, напр., Белов, познакомившийся с фурьеризмом еще в казанские студенческие годы.

Каким-же был учителем Чернышевский?

Разбросанные выше показания учеников Чернышевского заставляют признать, что он очень способствовал всестороннему развитию своих учеников—в частности в вопросах общего мировоззрения и политики, что он вместе с тем очень увеличил их сведения, как по предмету своей специальности, так и эпизодически, а иногда, может быть, и систематически, в ряде других наук, что он также очень сильно способствовал развитию их самостоятельности. Один из них, Дурасов, именно с педагогической деятельностью Чернышевского связывает рост за короткий срок поступлений саратовских гим-

мнзистов в университет—рост, очень значительный, в 2½ г. —3 раза. Ученики в своей гордости учителем вспоминали впоследствии, как яркое доказательство педагогической славы их учителя, слова экзаменовавшего их по словесности профессора при поступлении в Казанский Университет: „о Ваших познаниях свидетельствует уже то, что Вы—ученики Чернышевского“. И двоюродный брат Чернышевского Пыпин писал домой из Петербурга, что там один профессор не стал экзаменовывать ученика Чернышевского именно потому, что он его ученик и, как таковой, знает предмет. Некоторые ученики Чернышевского шли далее профессоров Казанского и Петербургского Университетов, когда толковали, что, собственно говоря, „кто был учеником „Чернышевского“ в Саратовской гимназии, тому незачем поступать в Университет, где даже не услышишь и не узнаешь того, о чем“ он „подробно говорил“.

Но мы должны выслушать и показания другой стороны.

Так, в 1854 г. директор и инспектор гимназии, проэкзаменовав недавних учеников Чернышевского, следующим образом формулировали свои впечатления от их ответов: „В русской словесности ученики 4 кл. успели достаточно, в прочих посредственно, хотя они твердо знали правила, изложенные в сокращенном их руководстве, но не могли подтверждать их примерами, а без этого изучение правил не достигает желаемой цели. Сочинения учеников, читанные на литературных беседах, по отзывам проф. Булича, посредственны“¹⁾. Понятны становятся рассказы мемуаристов о недоразумениях Мейера с Чернышевским в классе и на экзамене. Ученики были достаточно развиты и к экзамену знали „правила“ из „сокращенного... руководства, но не умели эти „правила“ применять на практике. Таким образом прямая цель школьного обучения достигалась плохо. В том же 1854 г. гимназию ревизовал окружной инспектор Антипов. Он тоже признал „преподавание словесности посредственным“. К сожалению, он не дал никаких пояснений к своему заключению. Таким образом и окружное гимназическое начальство шлет во след Чернышевскому осуждение его деятельности. Однако оно началось ранее. Вот отзывы Булича об ученических сочинениях, читавшихся на руководимых Чернышевским литературных беседах“. Они, эти отзывы, сохранились в отношениях попечителя казанского округа ген. Молоствова к директору Саратовской гимназии и народных училищ губернии Мейеру. Привожу первое из них целиком, а последующие в необходимых извлечениях.

¹⁾ Дело № 46 за 1854 г. арх. Сарат. I Муж. клас. гимназии. Пользуюсь случаем благодарить администрацию и состав Саратовского Губархивбюро за всегдашнее содействие в работе.

[л. 3] 23 марта 1853 года № 951.

Господину Директору училищ Саратовской губернии.

Представленные при донесении Вашем от 3 апреля 1852 года, сочинения учеников 6 класса вверенной Вам гимназии, были препровождены на рассмотрение к ад'юнкту Казанского Университета Буличу, который ныне возвратил эти сочинения с следующим мнением: первое, Василия Михальского разбор повестей „Белкина (Пушкина)“. Сочинитель кажется не имеет никакого понятия о том роде критики, которая называется историческою критикою, а потому его суждения совершенно [л. 3 об.] произвольны, пусть и ни на чем не основаны, кроме его личных убеждений. Подобные же убеждения—плохой авторитет. Кроме того, резкость тона, необдуманность выражений, часто неуместные и натянутые остроты доказывают малую степень уважения со стороны критика к разбираемому им славному писателю. Молодой человек не так поступать должен. Суждения его должны быть девственно-чисты, а не щеголять претензиями на насмешливость и оригинальность. Смех в этом случае обращается вспять, а не туда, куда направляет его автор, и второе, Василия Найденова „Взгляд на историю Аристотелевой теории красноречия“. Удивляться должно зачем ученики гимназий берут такие, слишком превосходящие силы их, темы для сочинений. Выхватив клочки мыслей из какой нибудь книги, не связав их в одно целое, необдумав их, полагают, что все сделано. Так можно, пожалуй [л. 4] писать и о халдейской мудрости и о магнетизме. Ученики гимназий, хоть например, в этой статье, написанной вовсе не на собственном изучении риторики Аристотеля, рассуждают необычайно умно и о философе Платоне и об английском парламенте и о Гизо и о Пиле. Все это Прекрасно, но главное дело гимназического преподавания русской словесности уменье правильно выражаться и писать по возможности изящно на родном языке—ускользает решительно из виду. От того эти рано-развитые умы, такие прекрасные диалектики на литературных беседах, отвечают очень плохо на приемных экзаменах в Университет, а писать совсем не умеют. Литературные беседы с их всеобъемлющим содержанием становятся поэтому очень подозрительными. Нужна грамматика и грамматика, практика в языке и слоге постоянная и неутомимая. Почему например, автор этой статьи, рассуждающий [л. 4 об.] так красноречиво о политическом характере риторики Аристотеля и о содержании афинской жизни, плохо пишет по русски? Почему его товарищи, такие знатоки в греческой жизни и в истории теории словесности, не сделали ни одного замечания на язык автора. А это бы очень нужно было. Грамматические ошибки часты, слог вялый и сухой, иные обороты и фразы бьют по ушам, коффония беспрестанно попадает. Один период раз'ехался на две страницы. Обо всех сих недостатках не сказано ни слова, слона-то и не заметили. Даю об этом знать Вам, милостивый государь, для сообщения учителю словесности, к надлежащему сведению; при чем возвращаю и самые сочинения. Попечитель Казанского Учебного Округа генерал-майор (подпись).

[л. 5] 27 марта 1853 года № 1021.

Первое—Виссариона Дурасова: „Разбор седьмого тома сочинений А. Пушкина“. есть поверхностный взгляд на содержание двух повестей Пушкина, но выраженный довольно правильно [л. 5 об.], а потому и заслуживает похвалы. Несправедлив критик только во взгляде своем на капитанскую дочку; ей он отдает меньше достоинства, чем бы следовало. Эта повесть требовала бы большего и подробнейшего разбора, нежели первая—Пиковая дама. Ее прекрасные стороны, верный взг яд на эпоху, слог, доведенный до высокого мастерства, стоили бы указания и напрасно все это забыто критиком. Что касается до замечания г. учителя в конце этой статьи, касательно разумных требований, какие можно делать гимназическими трудами и ученическими сочинениями, читаемым на литературных беседах, то нельзя не согласиться вполне с справедливостью этого, замечания только напрасно он выпустил из виду самое существенное и разумное требование—умение правильно писать по русски. Прежде всего [л. 6] надобно удовлетворить этому требованию. А эти два разобранные г. Буличем сочинения учеников Саратовской гимназии не удовлетворяют ему: в первом 28, а во втором 65 грамматических ошибок. Второе Ивана Пескова: „о введении действительности в роман и историю“ вообще хорошо; видно, что автор знает свой предмет, с любовью занимается словесностью и владеет прекрасною начитанностью. Самые ошибки во взгляде и историко-литературных фактах показывают, что труд его самостоятелен, что он пишет не из книг, не с чужого голоса. И слог его вообще хорош, но за то какое множество грамматических ошибок, доказывающих, что автор, при всем его уме и начитанности, не знаком с правописанием. С мнением г. учителя о том, что это сочинение заслуживает печати согласиться нельзя: во первых, потому что идея действительности, главная пружина [л. 6 об.] статьи, развита не ясно и не хорошо понята. Действительность такое слово, которое недавно существовало в нашей критике и к счастью наконец, исчезло, подобно другим, родственным ему понятиям—художественности, искренности и т. п. С ними нельзя связать определенного и ясного понятия. Во вторых потому не стоит эта статья печати, что в ней очень мало фактов, да и те большею частью не справедливо показаны. Г. Булич старался заметить несколько промахов на полях сочинения.

[л. 9] 4 апреля 1853 года № 1129.

Сочинение ученика Михаила Воронова „Исторический обзор укрепления прав на имущество до Екатерины II-й,“ доказывает в авторе юридические сведения и любовь к сему роду знаний, что ему делает большую честь, [л. 9 об.] если он посещает класс законоведения. Изложение его дельно и толково, факты исторические представлены в последовательности и логической связи и с этой стороны сочинение действительно хорошо. Но при этом совершенно не лишним было бы знание грамматики родного языка, а этого нет и потому самые грубые ошибки против правописания нередки.

[л. 10.] 31 марта 1853 года № 1099.

Первое—Кассиана Пашковского „Взгляд на польскую литературу во время царствования дома Ягеллонов“. В этом сочинении видно положительное [л. 10 обор.] знание польской литературы, доказывающее своим изложением труд и старание автора. Факты рассказываемые им любопытны. Но нельзя с тою же похвалою отзываться о слоге его: он сух и тяжел. Обороты вообще не легки. Не мешало бы автору также прибавить хронологические указания и скольконибудь общие места для введения, — тогда статья его была бы оживленнее. Он переносит читателя прямо *in medias res*, не знакомя его с причинами развития, с началом его. Но это нисколько не отнимает цены от положительного знания автора и ученого достоинства статьи, хотя она по своему содержанию и далека от того, чтоб быть общедоступною его товарищам. В отношении правильности языка надобно заметить, что автор решительно [л. 11] не умеет ставить знаки препинания в надлежащем месте Второе: Николая Турчанинова: „Цицерон и разбор его речи в оправдание Гита Анния Милона“.—Это сочинение совершенно похоже на предыдущее, кроме однакож неправильностей в языке, которых здесь менее. Вообще это труд достойный одобрения, хотя и выраженный довольно сухо и вяло. Лучшим местом можно назвать рассказ об убийстве Клодия и о поводе к речи Цицерона. Здесь автор гораздо оживленнее, нежели в других местах.

[л. 14] 28 апреля 1853 года № 1279.

Первое—Александра Дмитриева: „Поэзия и Мифология Скандинавов“, есть буквальный перевод некоторых мест из известной книги француза Мармье: *Lettres sur l'Island*. Перевод этот [л. 14 об.] сделан довольно плохо, потому что он сух, а подлинник отличается прекрасным языком; кроме того, автор, вероятно для отличия от Мармье, переставлял периоды и изменял их места, кое что и выпуская. Трудно поэтому объяснить цель замечания г. старшего учителя словесности, что это статья есть дельное извлечение из Гримма (?) и что оценить ее могут только те, которые читали Гримма. Г. Булич не знает для кого сделано это замечание, но может сказать одно только, что в нем виден невинный шарлатанизм, потому что эта статья не имеет ничего общего с сочинениями Гримма. Эти сочинения писаны вовсе не для гимназистов; даже студентам рано их читать: они плод глубокой науки, который не всякому дается легко. Вообще г. Буличу кажется, что даже эта пустая игра в великие имена (вполне можно быть уверену, что Гримм неизвестен автору) чрезвычайно вредна для гимназического развития. Ученики перестанут уважать то, что уважается людьми, посвятившими [л. 15] себя науке. Представители великих успехов в науке, идеи, до которых нужно вырости и образоваться, делаются таким образом для детей мыльными пузырями, которыми тешится их тщеславие. Например: на беседе, происходившей по поводу разбираемой статьи, один ученик говорит что „у китайцев источником жизни в мире считается теплород“. Другой отвечает ему, что „в китайской философии теплород есть отвлеченная сила а у скандинавов конкретистов теплые предметы. Далее можно встретить кохинкинские предания, ссылки на Масуди, Гримма и т. п. Можно подумать, что это конференция Академии, а не литературная беседа в Саратовской гимназии, еслиб не уверенность, что все эти имена и идеи выговариваются случайно, что это просто детская, но вредная игра. Почему было не назвать эту статью просто переводом, без всяких притязаний на громкое имя Гримма. По мнению Булича переводы, разумеется общедоступных, также полезны, как и собственные упражнения. Сверх того, они могут развернуть бедные лингвистические сведения в языках Европейских, а для Русского языка они полезны [л. 16 об.] будут ученикам в том отношении, что нигде лучше переводов нельзя им познакомиться с неправильными и чуждыми оборотами речи, галлицизмами, германизмами и проч., особенно, если они ксати и умно будут указаны учителем. Г. Булич думает, что половина присылаемых сочинений с большего пользою могла бы быть заменена переводами с иностранных языков. Второе—Николая Росницкого: „Княжнин и его комедия: несчастье от кареты“. Довольно порядочная статья, в которой видно знание дела. Разбор комедии впрочем сам по себе очень плох. Критик ограничивается только изложением содержания и большою выпискою. В отношении языка заметно неумение расставлять знаки препинания и переносить слова.

Как видно, удары Булича и попечителя прежде всего направлены против правописания и вообще грамматики учеников Чернышевского; направлены им и против их языка и слога. И рядом с ними удары обрушиваются на их смелость

суждения и нахватанность знаний в ущерб основательности усвоения и мысли. Очень существенно замечание Булича, что ученики „диалектики“ плохо отвечают на приемных экзаменах в университете. Как сопоставить его с горделивым заявлением гимназистов Чернышевского, что профессор-экзаменатор отказывался их, как учеников Чернышевского, экзаменовать? Может быть, это заявление передает казанскую точку зрения более позднего времени, чем 1852, может быть, самое начало 1852 г., когда Булич написал свой приговор над прекрасными „диалектиками?“ Как бы то ни было, но Молоствов и Булич, повидимому, сумели поймать на расстоянии существенный недостаток в преподавании Чернышевского.

Действительно, способствуя развитию своих учеников, открывая для них целые миры прекрасного, истинного и морального, он, повидимому, не очень налегал на исполнении ими школьной программы, отчего в применении подзубренных к экзамену правил у них выходил ряд пробелов.

Конечно, все это было можно выполнить впоследствии, на почве того широкого общего развития, которое благодаря Чернышевскому его ученики получили. В одном только получался непреодолимый пробел. Сам Чернышевский необычайно широко ставил свое преподавание и этим шел навстречу живым потребностям своих начинающих думать на общие темы учеников. Они-же жадно хватали разнообразное знание, которое он им по их вызову и от себя предлагал. Они в школьной беседе с ним приучались обсуждать самые сложные и трудные вопросы общего мировоззрения, науки, политики, жизни.... А им в среднем было под 15—16 лет.... И вот многим из них начинало казаться, что они прикоснулись к знанию во всем его объеме. Те верхушки знания, которые им больше кусочками, чем в целокупном единстве, предлагал Чернышевский, иные из них считали вполне довольными и достойными. Они были готовы застыть в этом раз навсегда приобретенном знании, и трудный путь подлинной науки им казался неинтересным и скучным. Отсюда среди некоторых из них пренебрежение к университету и университетской науке. Не надо думать, что они сами дошли до этого пренебрежения. В речах молодого Чернышевского иной раз задором дрожали слова пренебрежения к университету. Палимпсестов сохранил их нам почти в той-же формулировке и во всяком случае в том-же смысле, как ученики Чернышевского высказывали к университету свое отношение. И действительно, того общего мировоззрения и тех политических и социальных взглядов, которые вне официальной науки нашел себе и стремился передать ученикам Черны-

шевский, русский николаевский университет кафедры не давал и не мог дать. Но как раз в это темное николаевское время русский университет проделал огромную работу по усвоению и продвижению в доступные ему круги западноевропейской научной работы. Чернышевский впитал в себя эти знания и методы работы. Он сам стал действительным ученым и был на корне того, чтобы стать русским ученым мирового калибра. Созвездие решила иначе. И он в короткий срок проделал другую по истине гигантскую работу.... Но вот тот скепсис, который порою звучал по адресу русского университета в его устах, к несчастью упал на очень благодарную почву. И те, кто с ним в Саратове, шагнули очень далеко в свои немногие лет, оказались без пути, когда он из Саратова ушел. Им стало некуда идти. В них широта его захвата, погубила глубину познания и ранний догматизм под критической маской убил охоту исследовать....

Так в преподавательской работе Чернышевского сочеталось хорошее с дурным, крупные достижения с большими неудачами. И от этих его неудач понятнее становится и его столкновение с гимназической властью.

С. Чернов.

Ноябрь 1924 г.
11 февраля 1925 г.

48695



